

МАРИЯ Д. ВОЛКОВА

РАНХиГС, Москва, Россия

Животная тоска: концептуализация депрессии в психиатрии и ветеринарии

doi: 10.22394/2074-0492-2019-3-57-74

Резюме:

В статье анализируются свидетельства о депрессивных расстройствах животных, сделанные этологами и психиатрами в XX веке, а также история экспериментов по моделированию депрессии (animal model of depression). Сложившаяся в 1980-е психиатрическая концептуализация депрессии ставит во главу угла субъективные критерии, такие как ощущение грусти. Одновременно с этим доминирующим подходом к объяснению депрессии становится биологическая модель, в рамках которой это расстройство рассматривалось как имеющее физиологическую природу. Это означало, что в организме животных могут происходить процессы, схожие с теми, что вызывают или сопутствуют депрессивному расстройству у человека, и, следовательно, эти процессы могут быть воспроизведены в лабораторных экспериментах. Однако очевидная валидность экспериментов, воспроизводящих депрессию у животных, стала ставиться под сомнение. В контексте психических расстройств перевод «животное — человек — животное» работал неудовлетворительно: не хватало оснований для проведения аналогии между состоянием животного в эксперименте и человеком в депрессии. Наблюдаемые «симптомы» плохо соотносились с критериями расстройства, предполагающими обращение к субъектным переживаниям. В ветеринарной практике ситуация развивалась противоположенным образом. В США с 1970-х годов все больше распространяется диагностика и лечение депрессии у домашних питомцев. Ветеринары и владельцы домашних животных оказываются способны приписывать депрессивное расстройство животным, опираясь исключительно на внешние телесные проявления и характер взаимодействия человека и животного. Таким образом, существуют определенные способы «узнавать» депрессию у животных, хотя ее критерии напрямую не применимы к ним. Это «узнавание» проявлялось и в animal model of depression. В статье делается предположение, что это «узнавание» имеет социальную природу: состояние депрессии приписывается животному при поломке взаимодействия между человеком и животным. Для уточнения этого тезиса рассматривается интеракционистская и этнометодологическая подходы к описанию взаимодействия.

57

Волкова Мария Дмитриевна — магистр социологии, аспирант ИОН РАНХиГС. Научные интересы: социология повседневности, теория антропологии, философия быденного языка. Email: greasedfungi@gmail.com

Ключевые слова: социология животных, социология психиатрии, animal model of depression

Maria D. Volkova

RANEPA, Moscow, Russia

Animal Melancholy: Conceptualizing Depression in Psychiatric and Veterinary Contexts

Abstract:

The article investigates ethological and psychiatric narratives around animal depression, current veterinarian practices of prescribing antidepressants to pets, and the history of the animal model of depression. The conceptualization of depression — as it was set up in the 1980s — placed emphasis on subjective criteria such as “feelings of sadness”. A biological approach to depression, developed in parallel, included the assumption that this disfunction is of a physiological nature. This assumption meant that the processes which cause or accompany depression disorders in human beings can be detected in animals and can therefore be recreated in a laboratory experiment. But the validity of experiments that recreated the animal model of depression has increasingly been questioned. The “animal-human-animal” translation turned out to be problematic: there was not enough evidence to draw an analogy between an animal in an experiment and a depressed human. External symptoms observed did not relate well to the criteria of the disorder, the latter of which were linked to subjective experience. An opposite development could be observed in the veterinary sciences. Starting from the 1970s, the diagnosis and treatment of pet depression in the USA gained widespread appeal. Veterinarians and pet owners demonstrated that they could diagnose an animal with a depressive disorder based exclusively on external symptoms and a characterization of the owner-pet relationship. A certain means of recognizing “a case of animal depression” was established, despite the fact that depression criteria were not directly applicable. This tendency to recognize human traits in an animal is widespread. The author suggests that this “recognition” is of a social nature: depression is attributed to the animal when the interaction between human and animal breaks down. Interactionist and ethnomethodological approaches to the analysis of interaction are invoked to clarify this thesis.

Keywords: animal studies, sociology of psychiatry, animal model of depression

58

Maria Dmitrievna Volkova — MA in sociology, Phd student RANEPA. Research interests: anthropological theory, ordinary language philosophy, sociology of everyday life. Email: greasedfungi@gmail.com

This dog and man at first were friends
 But when some pique began
 The dog, to gain some private ends
 Went mad, and bit the man.
 Оливер Голдсмит

В 1871 году шотландский ветеринар и медик Лаудер Линдсей пишет работу «Безумие животных», где критически отзывается о нежелании своих коллег признавать общую природу психических расстройств у людей и животных. Он обращается к противоречию, возникающему в современной ему ветеринарной практике. Ветеринары наблюдали в поведении животных симптомы и болезни, для описания которых заимствовали психиатрические термины: гидрофобия при бешенстве у собак, «полное отчуждение ума» при бешенстве у кошек, нимфомания у оленей, различные мании у быков, слонов, лошадей и т. д.

Тем не менее они отказывались признавать возможность безумия у животных: «Хотя все ветеринары признают определенные ментальные феномены, сопутствующие некоторым заболеваниям у «низших животных», тем не менее они отрицают их параллелизм с безумием человека на том основании, что животные не обладают здоровым сознанием, а, значит, не могут обладать больным» [Lindsay 1871: 182] (здесь и далее перевод автора)

Действия животных могут быть или казаться безумными в силу какого-либо заболевания, но животные не могут сойти с ума: у них нет сознания, которое могло бы помутиться.

Линдсей в свою очередь заявляет, что, если ветеринары могут видеть безумие в действиях животных, то животные действительно страдают психическими расстройствами. Последняя идея имела для него ряд следствий. Он пишет, что, если животные могут сходить с ума так же, как и люди, то и причины их болезней также должны быть сходны с человеческими.

Значит, психические расстройства у животных могут быть вызваны не только физическими, но и ментальными причинами: «Если (...) животные *чувствуют* так же остро, как мы, как в телесном, так и в ментальном смысле; если они *думают и действуют* так же, как мы в аналогичных условиях; если они подвержены тем же болезням, что и человек, и те же самые причины вызывают у них безумие; (...) И если низшие животные, как и люди, подвержены не только чисто физическим, но и чисто *ментальным или моральным*, а также смешанным влияниям — нет никакой причины, чтобы лечение безумия у других животных проводилось на принципах, отличных от принципов лечения безумия у людей» [Ibid.: 186] (курсив Линдсея).

Тогда, продолжает Линдсей, болезни, что наблюдал он и его коллеги, должны быть квалифицированы как психические расстройства, чаще всего мании и «суицидальные меланхолии». Одной из главных причин их распространения он считал плохое обращение человека с животными [Ibid.: 195]. Это означало, что отношения с животными и их лечение должны строиться на «законах доброты», то есть на тех же принципах гуманистического отношения, которыми должны руководствоваться психиатры в отношении людей с психическими расстройствами. Таким образом, признание, что животное может страдать психическим расстройством, автоматически ставило для Линдсея вопрос, каким образом они должны быть включены в социальный и моральный порядок.

60 Начиная с 1980 года доминирующим подходом к объяснению человеческой депрессии становится биологическая модель. В ее рамках депрессия рассматривается как расстройство, имеющее физиологическую природу [Lawlor 2012: 170]. В этом контексте рассуждения Линдсея выглядят противоречивыми. То, что депрессией могут страдать и животное, и человек, может объясняться общей эволюционной историей. Однако предположение, что в организме животного происходят процессы аналогичные тем, что происходят в организме человека с депрессией, не ведет к выводам, которые делает Линдсей. Тем не менее парадоксальность практики, на которую он обращает внимание, никуда не исчезает. Люди продолжают видеть и диагностировать психические расстройства у животных, хотя психиатрия не создала инструментов, позволяющих им это делать.

Одновременно с выходом на передний план биологической модели депрессии формулируются новые критерии для ее диагностики у людей. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-III), вышедшее в 1980 году, проводит очень нечеткую границу между «нормальной печалью» и состоянием депрессии [Ibid.: 167]. Однако для разработки animal models of depression (моделей, воспроизводящих депрессию в экспериментах над животными) и для диагностики домашних питомцев такие критерии, как субъективное ощущение грусти, не могут служить релевантными основаниями. И все же животные становятся не только подопытными существами, на которых строятся модели депрессии, но и пациентами, чье «ненормальное» состояние определяет хозяин, а затем диагностирует и квалифицирует специалист. Ветеринары, владельцы питомцев, смотрители зоопарков и ученые каким-то образом «узнают» депрессию у животного. Цель этого текста — прояснить, как происходит это узнавание.

Животные-пациенты: свидетельства этологов и ветеринаров

Рассмотрим свидетельства этологов, психиатров и ветеринаров как примеры «узнавания» депрессии у животных, которое может осуществляться только за счет наблюдения. Одним из первых подобных свидетельств является статья американского психолога Отто Тинкельпо, который в 1928 году наблюдал за поведением самца макаки по кличке Купид.

Его несколько раз переводили из клетки в клетку к разным самкам, после чего исследователь заметил за ним странности, напоминавшие ему состояние, подобное человеческой депрессии: «В течение дня он часами тихо сидел в углу своей клетки или на лежбище с опущенной головой, и только иногда косился, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Весь этот период он был очень раздражителен и отказывался выполнять команды» [Tinklepaugh 1928: 298].

Позже этолог Хэб посвятил часть статьи истории болезни шимпанзе Камби, которая, по его заключению, страдала депрессией. Камби, точно так же, как Купид, сидела часами, отвернувшись к стене и уставившись в пол, не обращая внимания на пытающихся контактировать с ней людей [Hebb 1947: 6]. В обоих случаях исследователи фиксируют два принципиальных момента: животное не идет на контакт (причем именно с людьми) и застывает в неподвижной позе, отказываясь взаимодействовать с окружающим миром.

В эту логику укладывается и ветеринарная практика. Лорел Брайтман в своей книге и диссертации, посвященных исследованию психических расстройств животных в рамках социологии и антропологии науки, приводит мнение современного ветеринара, работающего с депрессией у домашних питомцев. Она отмечает, что ветеринару для установления диагноза достаточно понаблюдать за животным в течение нескольких дней. Если кошка или собака перестает делать жизненно необходимые вещи (например, есть) или то, к чему ее приучили люди (ходить в лоток), это считается признаком депрессии.

Однако наиболее важным критерием считается отказ идти на непосредственный контакт с человеком: «Я приближаюсь к ним и смотрю, что они будут делать. Будут ли тыкаться носом в мою руку или даже не повернут морду. Депрессивная кошка просто не ответит. Испуганные кошки очень отзывчивые... Они шипят, дерутся... Депрессивные кошки действительно похожи на маленькие безжизненные комки» [Braitman 2013: 177].

Ветеринару для выявления депрессии у кошки вовсе нет необходимости делать предположения о ее эмоциональном состоянии. Достаточно понять, каким образом кошка взаимодействует

с человеком, точнее, взаимодействует ли она вообще. Если агрессивное поведение кошки рассматривается как «нормальная» реакция испуга на незнакомого человека, то депрессивное состояние понимается как полная потеря контакта между ветеринаром и животным и набор телесных проявлений, описываемых как «безжизненность».

62 Подобные истории могут быть расценены как «плохой антропоморфизм», то есть как категориальная ошибка, заключающаяся в прямом приписывании состояния человеческого сознания (в данном случае больного) животному и игнорированию различий между видами [Mitchell 1997: 130]. Однако, как отмечает Хэб, подобный антропоморфизм также является способом наделить смыслом поведение животного, и поэтому он необходим для тех, кто непосредственно взаимодействует с ними [Hebb 1946]. Его мысль продолжает Митчелл: ученые, проводя контролируемый эксперимент, могут скептически относиться к приписыванию эмоциональных состояний животным. Однако специалистам, которые непосредственно заботятся об этих животных, антропоморфизация помогает считывать эмоции и реакции животного и оказывается предметом практической необходимости, то есть позволяет избежать возможных угроз для здоровья обеих сторон [Mitchell 1997: 129]. Другими словами, она полезна в ветеринарной практике.

Возвращаясь к описанным выше свидетельствам, отметим, что одним из «симптомов» депрессии Камби и Купида было именно нарушение взаимодействия обезьян и ухаживавших за ними работников: приматы отказывались выполнять команды, участвовать в предлагаемых занятиях и т. д. В данном случае антропоморфизация маркирует именно «поломку» в привычном порядке взаимодействия между определенным животным и контактирующим с ним человеком. Остановимся на этом моменте. Можно предположить, что искомое «узнавание» — элемент здравого смысла специалистов, работающих с животными, возникающий из практической необходимости контактировать со своими подопечными. В этом варианте оно имеет мало отношения к депрессии как расстройству, описываемому в психиатрической литературе. Поэтому в следующей части мы рассмотрим, как депрессия у животных воспроизводится в лабораторных экспериментах, ставящих своей целью создать теоретическую модель этого расстройства.

Животные-подопытные: animal model of depression

Прежде чем обратиться к моделированию депрессии у животных, необходимо более четко ответить на вопрос: что именно моделирует animal model? С 1940-х по сегодняшний день было выдвинуто мно-

жество animal models of depression; рассматривать их как единое целое некорректно. Многие модели в принципе не предполагают воспроизведение депрессии как целостного расстройства, а только воссоздают некоторые из ее симптомов и направлены на выяснение терапевтической эффективности антидепрессантов. Другие претендуют на проведение аналогии между состоянием животного и человека, либо разработку теоретической модели депрессии человека [Lemoine 2015: 161] (в некоторых случаях эти подходы сочетаются). Рассмотрим три из них: модель социальной изоляции, модель выученной беспомощности и фармакологическую модель. В каждой из них используется своя стратегия обращения с описанным выше «узнаванием».

Стратегия 1. Интуитивное включение

Модель социальной изоляции связана с работами Йелсена и Толмана, а также со знаменитыми экспериментами Харлова, который изолировал детенышей резус-макак [McKinney 1988: 55]. Первоначально его работы были посвящены исследованию роли матери и «материнской любви» во взрослении детенышей. Позже он создал модель депрессии, согласно которой психическое расстройство возникало вследствие изоляции детенышей от матери и от других макак, то есть от любого «социального контакта». Экстраполяция результатов его экспериментов на человека вызвала критику части научного сообщества. Эриксон заявил, что исследования Харлова демонстрируют не механизм психологической привязанности, а только «фетишизм по отношению макакам» [Vicego 2009: 198]. Тем не менее работы Харлова ждал успех как среди академических исследователей, так и за пределами научного сообщества [Ibid.: 200]. Не последнюю роль в этом играла наглядность исследовательской метафоры, которая позволяла с легкостью провести аналогию между человеком и животным, что стало сюжетом множества колонок в СМИ и даже комиксов.

Донна Харауэй рассматривает его эксперименты как перевод метафоры социального взаимодействия в лабораторные устройства: «мать-суррогат [из экспериментов Харлова] была буквальным социальным конструктом, моделирующим социальное взаимодействие, которое дестабилизировало привилегию естественного объекта» [Nagaway 2013: 233].

В работах, посвященных моделированию депрессии, в роли устройства-метафоры выступали вертикальные камеры, в которые помещали детенышей макак для воссоздания у них состояния депрессии, и которые Харлов называл «ямами или колодцами отчаяния» (pit of despair/well of despair) [McKinney, Stephen, Harlow 1972].

Метафоричность этого объекта прямо проговаривалась в описании эксперимента: «Депрессия характеризуется людьми-пациентами как воплощение состояния беспомощности и безнадежности, погружение в колодец отчаяния, поэтому мы, опираясь на интуицию, сконструировали наши вертикальные камеры так, чтобы воспроизвести это психологическое состояние у наших макак. Другими словами, мы создали физическую “яму отчаяния”» [Suomi, Harlow, McKinney 1974: 291].

Поведение макак в яме отчаяния, по словам Харлова, менялось в сторону того, что «мы могли бы назвать депрессией»: животное переставало двигаться, сидело в скрючившейся позе, иногда обхватив себя лапами. В эксперименте эти телесные проявления служили прямой аналогией с эмоциональным состоянием человека в депрессии. Вторым признаком было «полное отсутствие социального поведения» у макак, повергшихся изоляции, когда их пускали в игровые комнаты к сородичам. Таким образом, если камера для изоляции выступала в качестве материального воплощения человеческих переживаний, то непосредственное узнавание депрессии строилось на неспособности животного выстроить взаимодействие с другими и на сопутствующих этому телесных маркерах, то есть ровно на тех же критериях, что и описанных в предыдущем разделе ранних наблюдений и практиках ветеринаров. При этом способность поддерживать взаимодействие играло для маркирования расстройства центральную роль. Об этом свидетельствует эксперимент Харлова по реабилитации изолированных макак.

64

В этом эксперименте к депрессивным макакам подсаживали особь, которую Харлов называл «обезьяна-психиатр» [Suomi, Harlow, McKinney 1972]. В качестве обезьян-психиатров выбирались макаки с нормальным социальным развитием, но моложе, чем животное с депрессией (им было примерно по три месяца). Возраст психиатра подбирался так, чтобы макака не проявила агрессивное поведение по отношению к депрессивной макаке и не предлагала сложных социальных взаимодействий. Вместо этого макака-психиатр пыталась инициировать ответ на груминг или простые игровые паттерны у изолированной макаки. Если через несколько недель ей это удавалось, это свидетельствовало о «выздоровлении» изолированной особи.

Итак, эксперименты Харлова во многом базировались на метафорическом переносе. Участники эксперимента и само оборудование наделялись эмоциональными характеристикам. Камера для изоляции называлась «ямой отчаяния», и животные, находящиеся в ней, страдали «депрессией». Обезьяна, которая была способна восстановить социальный контакт с изолированной, называлась «психиатром». Многие из метафорических переносов, по словам самого

Харлова, были сделаны интуитивно и скорее базируются на «узнаний», чем объясняют его.

Здесь стоит подчеркнуть, что в основании метафор Харлова лежала интеракционисткая интуиция. Нормальное либо депрессивное состояние животного определялось его способностью поддерживать и предлагать такие формы взаимодействия, как игра, груминг и т. д. Именно это позволило свести роль психиатра к действиям макаки, которая могла втянуть депрессивную особь в игру. Если в ветеринарной практике слово «депрессия» маркировала «поломку» в отношениях между животным и человеком, то в экспериментах излечение от депрессивного состояния определяется как установление контакта между макакой и обезьяной-психиатром.

Стратегия 2. Теоретическое обоснование

Модель выученной беспомощности была предложена Салигманом в 1967 году. Ключевая идея заключалась в том, что в ситуации, когда животное не способно контролировать негативное воздействие на него, оно, понимая, что его действия никак не влияют на ситуацию, оставляет попытки избежать разрядов электрического тока: оно учится быть беспомощным [Seligman, Maier 1967].

65

В первоначальном эксперименте группы собак поместили в три экспериментальных ситуации. Сначала собак привязывали с помощью ремней так, чтобы они не могли сбежать, и пускали небольшие разряды электрического тока. В первом случае собака могла отключить ток, нажав на специальную панель. Во втором, у собак не было способов избежать электрических разрядов. В контрольной группе собакам не пускали ток. Во второй части исследования собак помещали в клетки, где они могли свободно передвигаться. Они тоже получали разряды электрического тока, но в данном случае они могли его избежать, перепрыгнув на другую сторону клетки. В результате собаки, которые во время эксперимента могли избежать шока или вообще его не испытывали, легко перепрыгивали через барьер, в то время как те, что были перед этим поставлены в «неконтролируемую» ситуацию, не стали искать способов избежать тока. Вместо этого они демонстрировали свою «беспомощность» [McKinney 1988: 71]. Это состояние Селигман связал с человеческой депрессией.

Экстраполируя результаты своей работы, Селигман утверждает, что симптомы выученной беспомощности и депрессии совпадают у животных и людей. В данном случае он говорит о видимых со стороны симптомах: заторможенность, снижение аппетита и потеря веса, снижение агрессии, физиологические изменения и т. д. [Seligman 2002: 314]. Несмотря на то что субъективные симптомы депрессии, такие как «угнетенное настроение, самообвинения и не-

приятие себя, исчезновение радости, суицидальные мысли и слезливость» [Seligman 2002: 315], невозможно распознать у животных, телесных проявлений выученной беспомощности достаточно для того, чтобы регистрировать подобное состояние у животных.

Более того, субъективные симптомы не являются необходимыми даже для диагностирования депрессии у человека: «Депрессивные субъекты часто испытывают печаль, но печаль не обязательно должна присутствовать для диагностирования депрессии. Если больной не испытывает печали, но вербально и моторно заторможен, много плачет, похудел на 20 фунтов за последний месяц, и все эти симптомы можно связать с смертью его жены, значит, у него депрессия» [Ibid.: 313].

66 Таким образом, созданная на животных модель позволила Селигману переопределить депрессию как преимущественно телесный недуг, который может быть наблюдаем психиатром без обращения к внутренним переживаниям человека. Однако, когда Селигман перешел от экспериментирования с животными к формулировке теоретической модели, которая объясняла бы этот механизм одинаково хорошо, как у человека, так и у животного, возникли сложности. Хотя он определил депрессию как телесный недуг, центральным элементом его концептуализации оказывается субъективный критерий — негативный когнитивный паттерн.

Все физические симптомы рассматривались им как следствия потери умения «реалистично» оценивать ситуацию. Животное или человек делают ошибки относительно реальности: собака думает, что не может избежать ударов тока, в то время как ей достаточно просто перепрыгнуть через барьер; человек считает, что не может повлиять на других. Те же выводы он экстраполирует и на депрессию: «Это предполагает, что реактивная депрессия, так же как и выученная беспомощность, уходит корнями в веру в то, что результаты [действия] являются неконтролируемым» [Seligman 2002: 316].

Когнитивное объяснение «выученной беспомощности» как ошибки, предлагаемое Селигманом, не соответствует изначальной аналогии, которая лежала в сравнении состояний животного и человека. Изначально он сравнивал физические симптомы депрессии с телесной реакцией собак в экспериментальной ситуации. Это делало депрессию наблюдаемой для психиатра, как в приведенном случае с пациентом, испытывающем трудности после смерти его жены. Когнитивное объяснение требовало обращения к субъективным критериям, и его подтверждение в экспериментах вызывало сложности, о чем свидетельствуют альтернативные объяснения выученной беспомощности у животных. Согласно первой, состояние животных объясняется адаптацией, оно позволяет легче переносить боль и шок от пребывания в неприятной ситуации. Согласно

второй, у животных просто снижается болевой порог [Mikulincer 2013: 22; Seligman Maier 1976: 19-20]. Если беспомощность у животных объясняется адаптацией и снижением болевого порога, то это будет противоречить концепции «когнитивной ошибки».

Другая проблема была связана с тем, как проводилась связь между экспериментальной ситуацией и причинами депрессии у человека. Разряды электрического тока, которых нельзя избежать, вызывали у собак состояние беспомощности. Как Селигман видит эквиваленты электрического тока в жизни человека? Селигман утверждает, что депрессия (и беспомощность) возникает, когда человек чувствует, что не контролирует происходящие с ним события [Abramson, Seligman 1978: 51]. Например, студент из всех сил старается хорошо выполнять учебные задания, но что бы он не делал и как бы не старался, преподаватель низко его оценивает [Ibid.: 52]. В итоге он убеждается, что беспомощен, так как реакция преподавателя не зависит от его действий. Селигман делает вывод, что выученная беспомощность возникает, когда у человека не получается взаимодействовать с «релевантным другим» [Ibid.: 53].

Под понятием «неконтролируемое событие» Селигман объединяет две разные вещи: неконтролируемость реакции другого и неконтролируемость окружающего мира вообще. Селигман приводит следующие примеры причин депрессии и выученной беспомощности: «провалы в работе или учебе, смерть любимого, отвержение или отдаление от друзей или объекта любви, финансовые сложности, столкновение с неразрешимыми проблемами и старением» [Seligman 2002: 314]. Все люди сталкиваются с разного рода неконтролируемыми событиями, поэтому предложенного объяснения было недостаточно для объяснения депрессии. В другой статье Селигман пытается частично обойти это противоречие, разделяя понятия «личная беспомощность» и «универсальная беспомощность» [Abramson, Seligman 1978: 52]. «Универсальная беспомощность» возникает в случаях, когда человек понимает, что другие не контролируют событие точно так же, как и он. «Личная» описывает упомянутую ситуацию со студентом: у других нет проблем с получением адекватной реакции от преподавателя, и только он не может этого добиться, т. е. поломка возникает во взаимодействии именно этого преподавателя и именно этого студента. Если «универсальная беспомощность» размыкает возможные причины депрессии до практически любых событий, то «персональная» описывает ее именно как потерю контакта во взаимодействии с другим.

В такой перспективе эксперименты с животными выглядят в большей степени как метафора. Животное не может избежать ударов током, беспомощность — ее реакция на ток. Тем не менее в случае с человеком объяснение лучше всего работает, когда он

сужает определение до «личной беспомощности», которая описывает именно социальный аспект, поломку в отношениях между людьми.

Тот факт, что выученная беспомощность может быть воспроизведена в экспериментах над животными означало для Селигмана, что депрессия имеет биологическую природу, а значит, надо сначала объяснить ее механизм на животных, а потом перенести обратно на человека [Seligman 2002: 314]. Однако, как было показано, перенос «животное — человек — животное» работал плохо. Таким образом, сформулированная Селигманом теоретическая модель депрессии вступает в противоречие с его экспериментами, на основе которых она разрабатывалась.

Стратегия 3. Избегание

68

Проблематичность, которую несут в себе animal model of depression, проводящие прямую аналогию между человеком и животным, снимается в фармакологических моделях. Николь Нельсон рассматривает функционирование знания в сообществе исследователей, моделирующих на мышах психиатрические расстройства для проработки генетического объяснения этих расстройств [Nelson 2018]. Она описывает, как эксперименты, использующиеся несколько десятилетий и утратившие убедительность в качестве моделей с очевидной валидностью, укрепляются с помощью «эпистемологических подпорок» (epistemic scaffolds) [Ibid.: 85]. В качестве одной из таких подпорок выступает «фармакологический аргумент»: если животное в эксперименте под воздействием препарата меняет свое поведение, то это может служить предиктором эффективности препарата в терапии человека. При этом необходимость выявлять сходства между состоянием животного и человеческим расстройством отпадает: мышь становится скорее «биологическим детектором» эффективности препарата [Ibid.: 88].

«Фармакологический аргумент» становится средством уйти от высказываний, которые в этом сообществе маркируются как «антропоморфизирующие» и которые избегаются не только в академических текстах, но и в неформальных разговорах между исследователями. Новые участники сообщества учатся называть состояние животного не депрессией, а «поведением, ассоциированным с депрессией». Тем не менее «узнавание» депрессии остается в какой-то мере частью практики, вынесенной за скобки, так как оно может поставить под удар репутацию исследователя в сообществе. Нельсон приводит свое интервью с Яном, выпускником, недавно включившимся в исследования, где он делится своими мыслями по поводу «теста принудительного плавания». Тест не имеет силь-

ной очевидной валидности, но считается хорошим предиктором действия антидепрессантов.

Однако аналогия между человеком в депрессии и мышью, пытающейся выбраться из емкости с водой, остается для Яна важной частью его работы: «Для него тип выученной беспомощности, которую демонстрирует мышь, просто пассивно плавающая в воде вместо того, чтобы пытаться выбраться, выглядит крайне похоже на выученную беспомощность, которую можно видеть у людей с депрессией. Чем больше он использует этот тест, тем больше он убеждается в схожести между человеческим и мышинным поведением. “В каком-то смысле я вижу это”, говорит он, тыча в постер с изображением плавающей мыши, — “Я не могу думать ни о чем, кроме депрессии”» [Ibid.: 102].

Желание Яна видеть депрессию в поведении мыши прощалась его коллегами и списывалась на его неопытность. Тем не менее его антропоморфизирующие высказывания рассматривались как нарушения негласных норм данного сообщества [Ibid.: 105].

Взаимодействие человека и животного: социологическое объяснение «узнавания»

69

В создании современных концептуализаций депрессии животные выполняли две роли: роль пациентов, чье состояние обнаруживали окружающие их люди — владельцы питомцев, ветеринары, работники зоопарков или ученые, и роль подопытных, с помощью которых депрессию искусственно воспроизводили в лабораторных условиях для создания биологических моделей. Однако, если их роль пациентов все больше укреплялась в ветеринарной практике (а в США она широко распространилась с 1970-х [Braitman 2013: 14]), то различные попытки воспроизвести расстройство в рамках экспериментов привели к тому, что научное сообщество стало с подозрением относиться к проведению аналогий между человеческой депрессией и состояниями животных.

Тем не менее исследователи так или иначе сталкивались с тем, что в статье называется «узнаванием», они наблюдали депрессию у животных: поведение макак Харлова менялось в сторону того, что «мы могли бы назвать депрессией», собаки Селигмана демонстрировали «беспомощность» и набор телесных симптомов депрессии, мыши в тесте принудительного плавания выглядели довольно депрессивно, несмотря на то что этот тест, по признанию ученых, не имеет очевидной валидности. Все эти факты подталкивают к предположению, что феномен «узнавания» остается за пределами исследовательской оптики и объяснений психиатров и биологов, занимающихся изучением депрессии в лабораториях.

В социологии есть два подхода к исследованию повседневных взаимодействий между человеком и животным: интеракционистский и этнометодологический. Первый из них связан с перспективой символического интеракционизма, проблематичность которого заключается в том, что в его рамках взаимодействие — это социальный обмен символами. Животные не владеют языком и, следовательно, не способны к такого рода взаимодействию. Сандерс, оставаясь в рамках интеракционизма, делает вывод, что «несимволического» уровня взаимодействия достаточно для установления социальной связи. Человек и животное могут иметь общий фокус внимания и поддерживать связь через взаимный обмен взглядами. Более того, Сандерс утверждает, что человек и животное могут взаимно определять ситуацию, например, как игру. В этом смысле животное может быть полноценным партнером по социальному взаимодействию. Однако в то же время он пишет, что именно культура выступает базисом для мгновенной оценки ситуации и изобретения средств для достижения целей [Sanders 2003: 407]. Это возвращает проблематичность исходному тезису о возможности социального взаимодействия между человеком и животным. Сандерс пытается выйти из этого затруднения, говоря, что человек и его питомец создают «приватную культуру», которая сама по себе является следствием их совместной ориентации на разделяемый ими опыт: «культура возникает как ответ на ситуации и создает предсказуемость интеракций». Возникает замкнутый круг. С одной стороны, взаимодействие возможно потому, что человек и его питомец или подопечный формируют «приватную культуру». С другой — для создания «приватной культуры» необходима ориентация друг на друга и одинаково определяемые обоими участниками ситуации, которые являются атрибутами взаимодействия.

Дэвид Гуд рассматривает игру со своей собакой Кэти с этнометодологической и феноменологической перспектив, и ему удается избежать части проблем, которые возникают у символических интеракционистов. Он исходит из того, что человек и животное разделяют некоторые аспекты реальности, и, хотя у них нет прямого доступа к внутреннему опыту или состоянию другого, этого достаточно для установления между ними осмысленного взаимодействия. Для раскрытия этого тезиса обратимся к тому, как Гуд описывает игру с Кэти. Их игра представляет собой «понимаемую, интернационально мотивированную, организованную социальную практику» [Goode 2006: 2]. Действия участников игры понимаются ими индексально, они ориентируются на то, как содержание их взаимодействия разворачивается во времени и как действия участников следуют друг за другом. Гуд отмечает, что для понимания некото-

рых элементов его игры с Кэти достаточно даже самого общего знания о событии. Например, мотивы Кэти, когда она приносит палку, предлагая человеку с ней поиграть, оказываются понятными даже тем, кто имеет минимальный опыт взаимодействия с собаками. Для понимания других аспектов игры требуется опыт взаимодействия именно с этой собакой и знание истории их отношений — только так Гуд может заметить «легкое замешательство» в том, как Кэти преследует палку, когда он «плохо» или вяло играет [Ibid.: 149].

Подход Гуда позволяет непротиворечивым образом описать на примере игры взаимодействие между человеком и животным. Но чем он может помочь в объяснении «узнавания» депрессии у животного? Наша гипотеза заключается в том, что объяснение через депрессию маркируют такие разрушения порядка взаимодействия между человеком и животным, которые не удается восстановить в течение значительного времени или которые постоянно повторяются. Автоэтнографические наблюдения самого Гуда являются наилучшим ее подтверждением: «Она опять отказалась играть этим утром, несмотря на то что она казалась возбужденной, когда я объявил: “мяч”. Она последовала за мной. [...] Я установил камеру. Она принесла мне мяч, и, когда я бросил его, она не побежала за ним. Для меня это было странным и поразительным поведением» [Goode 2006: 64].

71

В приведенном фрагменте нарушается самый базовый принцип игры Гуда и Кэти: когда Гуд бросает мяч, Кэти бежит за ним или ловит его. Это нарушение и дальнейшие неудачные попытки инициировать игру со стороны Гуда, продолжавшиеся около недели, поставили под вопрос не только исследование, но психологическое состояние Кэти.

Гуд приводит свои размышления по поводу этого события, где «депрессия», хоть и взятая в кавычки, становится превалирующим способом интерпретации: «Возможно, ее избегание игры в мяч может быть связано с более общими проблемами. Сегодня возможно все что угодно, от болезни лайма до невроза или депрессии. [...] Диана отметила, что пыталась поиграть в мяч с Кэти в этот период. Она казалась очень апатичной и летаргической в своей игре, как будто бы впала в депрессию. [...] Я достиг точки, когда решил позвонить ветеринару и спросить у него, что он думает о ситуации и что мне делать. Затем, внезапно без каких-либо особых причин, она начала играть опять. Это правда, что я был особенно мил с ней во время ее “депрессии”, каких-либо очевидных объяснений факту, что она начала играть так же внезапно, как перед этим перестала, я найти не смог» [Ibid.: 65].

Как подобная «психологическая» интерпретация вписывается в теоретический подход Гуда? По его утверждению, это описание

фиксирует «живые внутренние состояния»¹, которые встроены в его взаимодействия с собакой. Здесь стоит оговориться. «Живые внутренние состояния» не являются в буквальном смысле внутренними: это наблюдаемые для участников элементы взаимодействия, включающие в себя такие характеристики, как степень сфокусированности/заинтересованности во взаимодействии и аффективности. Поэтому описания, подобные приведенному выше, — это «не антропоморфизирующая проекция чьего-то ментального состояния, скорее, свидетельство интенциональности-в-действии» [Ibid.: 75].

Однако, если «живые внутренние состояния» встроены во взаимодействия и отражают определенные его характеристики, то приведенный случай — это момент, когда ситуативный порядок игры между Гудом и его собакой разрушился. Действия собаки во время игры обладали для Гуда описуемостью (accountable). Вся его книга посвящена скрупулезному описанию элементов их совместной практики, которая делала ее понятной обоим. Кэти инициировала игру, поднося мяч к ногам Гуда и становясь в позицию «готовности к игре». После этого он поднимал мяч и замахивался с «подчеркиваемым намерением». Кэти повторяла действия вслед за хозяином, внимательно отслеживая направление, в котором поворачивался торс Гуда. Когда он бросал мяч, она бежала следом. Когда, Гуд заподозрил у Кэти депрессию, она совершила всю последовательность принятых между ними игровых действий, кроме последнего. Она не ответила на действия Гуда в тот момент, когда от нее это ожидалось. Хотя во всех приведенных свидетельствах о депрессии животных нельзя с той же тщательностью проследить детали взаимодействия между заболевшим животным и работающим с ним человеком, один элемент описывался постоянно и подчеркивался как главный симптом депрессии — животные прерывали взаимодействия и не делали то, что от них ожидалось. Наиболее ярко это проявлялось в экспериментах Харлова, где «депрессивное» животное отказывалось контактировать с другими животными, а «излечившееся» снова оказывалось способно поддерживать игру.

Йорк Бергман анализирует психиатрические интервью, где пациент в течение всего приема молчит, несмотря на все вопросы и попытки психиатра инициировать разговор. Руководства по диагностике не позволяют сформулировать диагноз, но действия пациентов в этой ситуации однозначно трактуются врачами как свидетельства психического расстройства [Bergmann 2016: 251]. Бергман

1 Гуд заимствует концепт Гарфинкеля из статьи «Исследования рутинных оснований повседневных действий». В данном случае я ориентируюсь на перевод А.М. Корбуа.

приходит к выводу, что психическое расстройство вменяется человеку, нарушающему «прото-моральный порядок» [Ibid.: 248], то есть тому, кто нарушает имплицитные ожидания, которые позволяют делать действия других понимаемыми и описуемыми. Отказ реагировать на попытку инициировать взаимодействия (диалог, как у Бергмана, или игру, как в наших примерах) — и есть нарушение «прото-морального порядка».

Эта статья начиналась с описания идей Линдсея, который предполагал, что тот факт, что животные могут страдать психическими расстройствами, означает, что они должны быть включены в социальный и моральный порядок. Сейчас мы можем присоединиться к нему, но не на том основании, что у животных есть сознание или они «думают и чувствуют», как мы, а потому, что они, точно так же как и люди, способны поддерживать осмысленность взаимодействия.

Библиография / References

- Abramson L.Y., Seligman M.E., Teasdale J.D. (1978) Learned helplessness in humans: critique and reformulation. *Journal of abnormal psychology*, 87 (1): 49-74.
- Bergmann J.R. (2016) Making mental disorders visible: Proto-morality as diagnostic resource in psychiatric exploration. *The Palgrave Handbook of Adult Mental Health*. London: Palgrave Macmillan: 247-268.
- Braitman L. (2013) *Animal madness: a natural history of disorder*. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
- Goode D. (2007) *Playing with my dog Katie: an ethnomethodological study of dog-human interaction*. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.
- Haraway D.J. (2013) *Primate visions: Gender, race, and nature in the world of modern science*, New York: Routledge.
- Harlow H.F., Suomi S.J. (1974) Induced depression in monkeys. *Behavioral biology*, 12 (3): 273-296.
- Hebb D.O. (1947) Spontaneous neurosis in chimpanzees: theoretical relations with clinical and experimental phenomena. *Psychosomatic Medicine*, 9 (1): 3.
- Hebb D.O. (1946) Emotion in man and animal: an analysis of the intuitive processes of recognition. *Psychological review*, 53 (2): 88.
- Lemoine M. (2016) Extrapolation from animal model of depressive disorders: what's lost in translation? J. C. Wakefield, S. Demazeux (eds) *Sadness or Depression?* New York: Springer:157-172.
- Lindsay W.L. (1871) Madness in Animals. *Journal of Mental Science*, 17 (78): 181-206.
- McKinney W.T., Suomi S.J., Harlow H.F. (1972) Vertical-chamber confinement of juvenile-age rhesus monkeys: A study in experimental psychopathology. *Archives of general psychiatry*, 26 (3): 223-228.

Suomi S.J., Harlow H.F. (1972) Monkey psychiatrists. *American Journal of Psychiatry*, 128 (8): 927-932.

McKinney W.T. (1988) *Models of mental disorders: A new comparative psychiatry*, New York: Plenum medical book company.

Mitchell R.W., Thompson N.S., Miles H.L. (eds) (1997) *Anthropomorphism, anecdotes, and animals*. Albany: SUNY Press.

Mikulincer M. (2013) *Human learned helplessness: A coping perspective*. Ramat Gan: Springer Science & Business Media.

Nelson N.C. (2018) *Model behavior: Animal experiments, complexity, and the genetics of psychiatric disorders*, University of Chicago Press.

Seligman M.E., Maier S.F. (1967) Failure to escape traumatic shock. *Journal of experimental psychology*, 74 (1): 1-17.

Seligman M.E., Maier S.F. (1976) Learned helplessness: theory and evidence. *Journal of experimental psychology: general*, 105 (1): 3.

Seligman M.E. (2002) A Learned Helplessness Model of Depression. J. Radden (eds) *The Nature of Melancholy. From Aristotle to Kristeva*: New York: Oxford University Press: 311-315.

Sanders C.R. (2003) Actions speak louder than words: Close relationships between humans and nonhuman animals. *Symbolic Interaction*, 26 (3): 405-426.

Tinklepaugh O. L. (1928) The self-mutilation of a male Macacus rhesus monkey. *Journal of Mammalogy*, 9 (4): 293-300.

Vicedo M. (2009) Mothers, machines, and morals: Harry Harlow's work on primate love from lab to legend. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 45 (3): 193-218.

Рекомендация для цитирования:

Волкова М.Д. (2019) Животная тоска: концептуализация депрессии в психиатрии и ветеринарии. *Социология власти*, 31 (3): 57-74.

For citations:

Volkova M.D. (2019) Animal Melancholy: Conceptualizing Depression in Psychiatric and Veterinary Contexts. *Sociology of Power*, 31 (3): 57-74.

Поступила в редакцию: 22.09.2019; принята в печать: 29.09.2019

Received: 22.09.2019; Accepted for publication: 29.09.2019